

общение к всевышнему, обретение небесного в земном. Воплощение бога в сыне не есть просто заземление-уподобление. Нет! Это скорее напряженное преобразование с акцентом на второй член афоризма то же, да не то же. Акцент на не то же. Не то же, чтобы стать тем же. Разве можно кровавые стигматы *Франциска из Ассизи* назвать надмирным символом крестных мук *Иисуса Христа*? От символа веет ледяным холодом бесснежной космической зимы.

Да и само понятие *человекобога* или *богочеловека*, понятие, выступающее срединным членом меж тварью (человеком) и богом, исключает символическую интерпретацию подобия и уподобляемости, где срединное звено с самого начала исключено. Символические пары разрушают всеобщую связь времен и пространств, вносят разлад во вселенскую безупречную гармонию. Плодят мозаичную множественность. Христианское средневековье принципиально антисимволично, хотя и дает повод к символическим, на поверхности лежащим интерпретациям. Если *пресуществление* — истовое томление, индивидуальное (в контексте коллективного) переживание, литургическое действо, то символотворчество — это, в частичном смысле, метафоротворчество, воспроизводство аллегорий, литературные реминисценции. Литургия — литература. Такова оппозиция антисимвола — пресуществления как наперед заданного чуда и символа-метафоры как изобретения.

Анализ *квазисимволических форм средневекового сознания* приводит некоторых исследователей к фактическому отказу от исходной установки на символизм.

Л. П. Карсавин разделяет собственно символизм и «священное действо» пусть зыбкой, по гранью, наделяя символ функцией знака, хотя и знака-знамения. Тогда символ предстает не только средоточием вневременной вечности, но и конкретным воплощением прошлого, настоящего и будущего. Вместе с тем застывшие квазисимволические формы в полнокровии человеческого существования оживают и дышат, являя простые житейские переживания вины и отчаяния, обновления и надежды под видом сакральной благодати, ведущей к примирению, оправданию и радости. Время и вечность, материализованные в символе, отливаются в формулу: *«печаль и борьба — наследники вечности и славы»* (1914, с. 14).

Финалистский характер средневековой мысли вступает в противоречие с принципиальной многозначностью символа. Конец пути — раскрыть истину, единственную и окончательную. Полисемия же символической фигуры изначально неисчерпаема. Да и количество возможных символов тоже непостижимо. Разлад, выводящий символизм за пределы средневековья, правда, не так далеко, чтобы вовсе исключить возможность символотворческой игры в этой культуре.

Символизм — игра ума, но игра ума со священным. И потому сама эта игра тоже священна. Изучение взаимодействия символа, обитающего на алхимической периферии средневековья, с пресуществленческими метаморфозами собственно средневековья могло бы подкрепить этот тезис.